

ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ

* * *

Как душа выбирает судьбу, рассказал платоновский Эр.
Ноги немного вязнут в плотной облачной вате.
Видишь, душа подёнщика подаёт достойный пример,
выбегает вперёд, выхватывает жребий тирана. Некстати,
рядом душа Дионисия ухмыляется – этот куш,
с опытной точки зрения, недорогого стоит.
Вокруг разложены жребии, их много больше, чем душ.
Какая своим вниманием какой из них удостоит?
Я родился и прожил без малого сорок лет,
но душа моя до сих пор примеряет, меняет жребий,
колеблется перед выбором. Этот? Всё-таки нет.
А я всё жду, ну когда она? Ну как она там – на небе?

Алтай

Здесь нет середины. О ежеминутном
подумай: о спичках, дровах для привала,
и сразу о самом последнем и трудном:
конечных причинах, начале начала.

Нет будущего в этом каменном храме,
и прошлого нет. Только точка опоры.
И небо, как чаша с расколотым краем,
оброненная на скалистые горы.

Когда остановится на перевале
тяжёлое Солнце из теплой латуни,
мы руки и губы омочим в Капчале
и к вечеру выйдем на берег Катуня.

Внезапно вода закипает в протоке
и хлещет по пальцам железом калёным.
Под правую стенкой Четвертые Щёки
проходим, царапнув о камень баллоном.

Я первая строчка последней страницы.
Лёд, небо и камень – слова эпилога,
граница лесов или просто граница
и водораздел человека и Бога,

и отграничение тела и духа,
движенья, покоя, начала, итога,
и кровь, зазвеневшая зыбко и сухо —
и всё-таки дальше, хотя бы немного.

Первый поцелуй

Я целую тебя неумело,
робко, скомканно, воровато.
Так податливо это тело,
Так засасывает куда-то.
Осень жёлтая в красных пятнах.
Очи чёрные близко-близко.
Так вибрирует сердце в пятках.
Визг осеннего василиска.
Гул падения мимо, мимо.
Листья тикают тонко, тонко.
Щёки пахнут яблоком, дымом,
и пространства скрипит воронка.

Plath with Nicholas, December 1962

На этом снимке с ребёнком
Сильвия Плат похожа на Юлю.
Такую, как двадцать лет назад.
(Двадцать лет — это много?
Двадцать лет — много.)

Юля действительно напоминала Плат
решимостью вынести всё
и снести...
Я любил её так, что казалось —
мир взорвётся.
Да он и взорвался.
И собирал я тело своё и душу,
по лоскутам, как чёртову свитку.

Сильвия Плат смотрит в камеру.
(Чем снимали тогда?
Тот же «Кодак», наверно.)
Она улыбается.
Восторг
в огромных чёрных глазах,
волна
тяжелых чёрных волос...
Она улыбается сыну.
От этой идиллии
становится холодно.

Ты-то думала,
что у кошки девять смертей,
но оказалось — их только три.

Я уже старше тебя...
Я намного старше тебя,
черноволосая девочка,
самоубийца со стажем,
кошка, которая репетирует
смерть, как минорную гамму.
Раз-и, два-и... Три.

* * *

Жить не хочется, хочется спать.
Смерть, говорят, красна на миру.
На что мне такая благодать?
В одиночестве лучше умру.
Заживо постепенно сгнию,
морозом задохнусь наконец,
медлительную волю мою
ломают, как поленом крестец.
Куруется над грязной рекой пар,
Горько пахнет горелым тряпьём...
Знай: втиснутый в стандартный футляр,
я любил тебя в сердце своём.

Массовка

У Казанского собора,
возле левого крыла,
отпевают режиссёра
красные колокола.

Транспаранты и хоругви,
писанные через «ять».
Пляшут лики или буквы –
не умеют устоять.

Ветер с моря мнёт знамена,
рвёт, как марлю на бинты,
исторического фона
характерные черты.

И оратор по трибуне
бьёт кондовым кулаком.
Блики реплик тонут втуне
и прибое городском.

Забубенная держава
с козьей ножкой на губе
покачнулась влево-вправо
и окуклилась в борьбе.

Ну так что ж, давай орудуй,
эпохален твой замах,

самоварною полудой
отразившийся в умах.
Кто-то месит, кто-то лепит
от усердия сопит,
и глаза слезит и слепит
подвернувшийся софит.

Стая галок над собором –
вышивка полукрестом –
нам дана не режиссёром,
а пространственным холстом.

Холст пространства кто-то вышил,
набирая по стежку,
или просто встал и вышел
по ноябрьскому снежку.

И ушёл, забыв дорогу
в этот город и собор,
где массовку понемногу
завершает режиссёр.

Я живу в газетных шорах,
нумерованный извне.
Я нуждаюсь в режиссёрах
Больше, чем они во мне.

Плоть от плоти общей массы,
притулившись на краю
непутёвой водной трассы
где-то около стою.

Получает середина
по три ложки толочна.
Это глина, только глина,
только глина без окна.

Отпечаток влажных пальцев
остаётся на лице
у сидельцев и скитальцев,
как непознанная цель.

Мне ли мыкать, мне ли плакать
и отбыть куда-нибудь.
Только глина, только мякоть –
несминаемая суть.

Истина мутна, как тина.
Больно бьют её ключи.

Только глина, эта глина
не годна на кирпичи.

* * *

Соль и спички в продаже свободно, и это немало.
В Эфиопии засуха. Люди, как мухи-цеце,
мрут от голода, новую жизнь начиная с начала.
Что-то будет в конце.

Будут спички и соль, в остальном – перебой и нехватка.
Будет масло – по карточкам, мясо – три раза в году,
и отеческий взгляд охранителя миропорядка,
пронизавший среду.

Паденье Трои

Сипит флейтист, лады расстроая.
В моих глазах сгорает Троя.
Кассандра бьётся о косяк.
Ништяк.

Бежит Эней. Спасает шкуру.
Его геройская фигура
мелькает в продранном плаще.
Ваще.

Неоптолем, щенок, мальчишка,
при штурме накативший лишку,
рассёк Приамово чело.
Не запаadlo.

Витает привкус сладкой гари,
палёной плоти, каждой твари
ещё перепадет, ещё.
Ты чё.

Мелькают шлемы, лица, копья,
и пепел носится, как хлопья
звонной пены. Стон в груди.
Не бзди.

Я плачу. Стены Илиона,
наследье Троса, щепки трона
и факелов чадящий свет.
Пинцет.

О, где ты, где ты, Афродита,
ужели рана не забыта?
Зевс не велел? Как тут посметь.
Я встречу смерть.

Ночь
(вариация)

Не спи, не спи, замёрзнешь.
Не предавайся сну,
а предавайся пиву
и белому вину.
Не спи, не спи, работай,
животным табака
насыть свою утробу,
ведь ты живой пока.

Но все давно уснули,
я вышел на балкон,
ворочаются мысли,
как железобетон.

Не сплю один и вижу,
что все сошли с ума,
что бродят по Парижу
публичные дома,

что я один остался,
других на свете нет.
Наверно, я художник,
писатель и поэт.

Дорогана Чаттанугу

Михаилу Бутову

– Pardon me, boy,
Is that the Chattanooga Choo-Choo?
– Track twenty nine!

Mack Gordon

Дорога на Чаттанугу
сначала уходит к юго-
востоку. Давай по ней.
Какие пребудут страсти,
Какое увидишь «здрасте»
пристанционных огней!

Дорога на Чаттанугу,
наверное, путь по кругу,
по сфере, как ни крути,
блуждая по оболочке,
в какой бы ты ни был точке, –
ты будешь в конце пути,

как муха в хрустальном торе.
Так в фильме у Торнаторе

машинка бессонно бьёт
слепые наборы литер.
Вода на лицо и свитер
стекает, каплет и льёт.

Герой Депардье поникший
с трудом вспоминает нижний
отвергнутый дольний мир.
Рассветное время смерти
отмоет от скверны тверди,
потёртой до чёрных дыр.

Увязшие в Интернете
товары, деньги и дети
скользят от узла к узлу.
Летит золотой картофель
не в бровь, а в медальный профиль
отвязанному козлу.

Итак, продолжим. Давно ли
жил мальчик, учился в школе
потом поступил в МЭИС.
Окончил, писал рассказы,
добился звучанья фразы,
единственного. Не скис,

не спился, хотя и мог бы,
вкусил белены и смоквы,
наставил ярких заплат.
Солиден, груб и заботлив
Построил, как Лейбниц Готфрид,
свой собственный моноад.

Есть кресло, стол и два стула,
автомобильному гулу
не взять монастырских стен!
Есть Вера и есть Никита
и можно граунд-битом быта
поверить пульс перемен.

Корь, коклюш, ветрянка, свинка,
Глен Миллер. Под посвист свинга
на 29-й путь
подходит южный почтовый
Прощай, мой мальчик. Да что вы –
увидимся как-нибудь.

* * *

Я люблю Вас, сударыня. Странно легко
отливается слово, как плотная влага,
словно губы пригубливают молоко,
и полынную горечь впитала бумага.

Над Зеркальным театром плывет саксофон.
Звук колеблется между колонн и колонок.
Счастья нет, вероятно. Но должен быть фон
цвета серого моря, как слёзы спросонок.